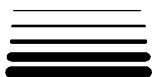
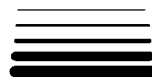




## НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ



### Поздравляем юбиляра!



### АНАТОЛИЮ ФЕДОРОВИЧУ ЗОТОВУ – 80!

Анатолий Федорович Зотов родился 15 мая 1931 г. в деревне Острые Луки Тверской области. Закончил философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова (1953) и аспирантуру по кафедре истории зарубежной философии (1956). С 1972 года профессор, в 1987 – 2005 годах – зав. кафедрой истории зарубежной философии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор философских наук, профессор. Заслуженный профессор Московского университета.

Редакция журнала «Философские науки» сердечно поздравляет Анатолия Федоровича и желает ему крепкого здоровья и дальнейших творческих достижений.

Предлагаем вниманию читателей интервью А.Ф. Зотова, данное им в преддверии юбилея М.Ю. Васильевой, ассистенту кафедры истории зарубежной философии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

**– Анатолий Федорович, расскажите, пожалуйста, о своих детских и юношеских годах, о своей семье. Что Вы помните о войне?**

– Родился я в семье учителей. Мать, Егорова Васса Федоровна, преподавала русский язык и литературу, окончила в Ленинграде учительский институт, затем (заочно) филологический факультет ЛГУ. Происхождение – из рабочих – ткачей. Была человеком одаренным, писала неплохие стихи, до замужества некоторое время сотрудничала в городской газете Вышнего Волочка. Получила Почетное звание Народного учителя, была награждена орденом Трудового Красного Знамени и несколькими медалями. Отец, Зотов Федор Федорович – из крестьян Рязанской губернии. Получил образование в том же учительском институте, что и мать, где они и познакомились; стал учителем географии. В 1941 году был призван в действующую армию, был зам. командира пехотного батальона, в боях подо Ржевом ранен и демобилизован; получил несколько боевых наград. После демобилизации стал выборным партийным руководителем, работал в разных городах районного значения в центральной России; потом вернулся к преподавательской работе.

Я был старшим из четырех детей; младший умер в раннем возрасте от дифтерии, не дожив до начала войны; второй, Федор, родившийся в 1938 г., закончил училище морских летчиков. После расформирования училища в связи с окончанием ВОВ избрал профессию пилота-

вертолетчика; работал на Севере и в Крыму; умер от сердечного приступа в довольно раннем возрасте. Младшая, Лида, ровесница войны, пошла по стопам родителей – стала учительницей английского языка и до сих пор зарабатывает на жизнь в этом качестве; теперь, выйдя на пенсию, – частными уроками.

Как видите, нормальная советская семья, ячейка общества, какие существовали в условиях строительства социализма – коллективизации, индустриализации, культурной революции, трех войн (Гражданской, финской и Великой Отечественной), не считая мелких конфликтов, послевоенного восстановления народного хозяйства и пр. Семья наша, как и большинство подобных, на одном месте задерживалась недолго; как пелось в песне, «Мой адрес – не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз».

Чтобы сказанное не выглядело как сухая анкета, добавлю немного чисто личного. Например, я выучился читать (благодаря профессии и таланту матери) довольно рано, а в 5 лет читал уже свободно самую разную литературу: Дж. Лондона, А.П. Чехова, В. Скотта, Ж. Верна, Пушкина, Лермонтова, Л.Н. Толстого, А. Толстого, даже Булгакова. Очень любил научно-фантастическую литературу, увлекался и научно-популярной. Читал Ч. Дарвина, с восторгом прочел толстенную, великолепно иллюстрированную книгу Фабра «Жизнь насекомых». Много читал по астрономии, экспериментальной физике и общей истории (особенно те книги, которые были написаны в стиле Александра Дюма). Читал все, что мог достать из серии «ЖЗЛ». В самом раннем детстве любил сказки (бабушка, кстати, была большой мастерицей их рассказывать). Может быть, поэтому школьные предметы давались мне легко, за исключением тригонометрии (единственная четверка в аттестате зрелости). Между прочим, был удостоен чести (кажется, в первом классе, в военном городке Выползово) подписать от имени школьников договор о соревновании с одним из первых Героев Советского Союза, Михаилом Водопьяновым. Тогда ведь все мы (да что там – весь мир!) восторженно приветствовали рекорды сверхдальних перелетов наших летчиков. Имена Громова, Водопьянова, Белякова и Байдукова, были известны буквально всему населению Советского Союза; летчиками, а вовсе не футболистами, не актерами, и даже не пограничниками, мечтали стать все мальчишки (да и большинство девочек тоже). Я даже написал по этому случаю первый, весьма корявый, стишок. Там же, в военном Доме Культуры (обратите на это внимание!), я получил и зачатки музыкальной грамоты (фортепьяно и скрипка) – отец несколько лет работал начальником этого ДК. Но семья еще раз сменила место работы, и мои музыкальные таланты, если они вообще были, так и остались в зародыше. Помню, что и скрипка, и фортепьяно были совершенно несообразны моим тогдашним физическим параметрам. Однако я старался. Может быть, поэтому и к музыке, и к музыкантам меня всегда тянуло; я благодарен судьбе за то, что она свела меня с Соней Губайдуллиной, Максимом Дунаевским, Володей Высоцким. Одним из моих любимых композиторов был Р. Вагнер. Впрочем, ря-

дом с ним я бы поставил и немало российских – Бородина, Серова, Скрябина, Стравинского, Чайковского. К музыкальному модерну я, насколько себя помню, относился прохладно (как, впрочем, и к «поздней» классике тоже). Современные музыкальные новации, как правило, вызывают у меня неприязнь, возможно, из-за недостатка образования и воспитания – я всегда чувствовал себя скорее «деревенщиной», чем жителем городским.

Но, простите, все это было потом. А сначала была война, и детство мое было военным – и, кстати, наверно потому и деревенским. Что касается этого периода жизни, рассказать об этом кратко я не в состоянии. Потому ограничусь иллюстрацией настроения и приведу отрывок из собственного, позднего, стихотворения:

Что детство? Было или нет?  
 В разрывах утренний расцвет;  
 В руке тяжелый пистолет; прицела прорезь...  
 И, разгоняясь под уклон,  
 Перекрывая чей-то стон,  
 Гремит военный эшелон –  
 Мой первый поезд...

Впрочем, об этом времени куда лучше написала мама; и потому вот одно из ее послевоенных стихотворений, которое запечатлелось в моей памяти:

Посмотрите, не наши дети ли  
 Жгут костры на ночном привале?  
 Как состарились – не заметили,  
 Будто целый век воевали...  
 И в моем, раньше звонком, голосе  
 Нотки грусти заметны малость,  
 Седина просочилась в волосе,  
 Подступила к сердцу усталость...  
 Нами убраны сора грудищи,  
 Ветер вел нас в дымные дали...  
 Мы за пять поколений будущих  
 В свой недолгий век отстрадали.  
 Но к себе мы не знали жалости,  
 В наших песнях не было фальши –  
 Стиснув зубы, сквозь дым усталости,  
 Мы упрямо шагали дальше.  
 Пусть дороги в эпоху новую  
 Неизведанны и опасны –  
 Мы свою судьбу сквозняковую  
 Ни на что менять не согласны!

Что касается прозы повседневной жизни военных лет, то, оказавшись «заброшенным» в деревенскую жизнь, я мигом научился управляться с лошадьёю, работать и с сохой (кстати, она очень удобна для посадки картошки!), овладел навыками работы с другим сельскохозяйственным инструментом, освоил, худо-бедно, слесарное и столярное ремесло. Мне пришлось научиться ухаживать за ребенком (моя сестренка была еще грудничком, а мать работала в деревенской школе). Так что в свои 10 лет мне пришлось и пеленки стирать, и сестренку пеленать... Я мог приготовить какую-никакую еду из того, что посылал нам Бог и давали лес и огород. Настоящего, большого голода мы, слава Богу, в войну не испытывали. Даже тогда, когда сначала жили в комнатухе старого помещичьего деревянного дома, где, по слухам, во время Гражданской войны была мертвецкая, а мы еще ничего толком не умели. Дом был огромный, деревянный и нежилой. Правда, когда нас туда определили, на чердаке (или, точнее, на верхнем этаже этого дома) жили еще несколько военных, которые обслуживали пункт ВНОС (воздушного наблюдения, оповещения и связи). Помню, что сначала было очень холодно, но нам подарили «буржуйку», для которой я собирал сухие веточки в заброшенном помещичьем саду. Впрочем, сад уже был школьным. После революции в одном из домов помещичьей усадьбы, которая включала и наш дом, и огромный сад, была школа. В этом ансамбле была и красивая церковь. Ее после победы революции почему-то не взорвали – может быть, просто руки не дошли или взрывчатки не хватило. Потому в церкви разместили библиотеку. Она была очень даже неплохой, по тем временам, а, как мне тогда казалось, – просто огромной. И тоже заброшенной, как и сад, и дом. Но вернусь к жестоким реалиям первых лет нашей жизни в эвакуации: у нас сначала не было даже топора. От немцев бежали в спешке – к дому ночью подогнали грузовик, сказали: «Грузитесь, 15 минут в вашем распоряжении. Захватите самое необходимое – не больше чемодана». Хорошо, что мать второпях запихнула в чемодан несколько своих летних платьев. В соседней деревне (ее имя – Рязанка) мать меняла свои платья на молоко (за одно платье – 30 литров молока; по тем временам неплохой бизнес).

Помню, как нас погрузили на пустую платформу в военном эшелоне. Куда едем, мы не знали: говорили, что эшелон направляется в тыл. Приехали в Рыбинск, на речной причал. Мать, жену фронтового командира с младенцем на руках, пустили на пароход с военными, которых направляли в Сталинград. Но доплыли мы до Камышина, а оттуда добрались до родины отца, села Урусово. И стали приспособливаться к новым условиям жизни, о чем я начал рассказывать чуть раньше. Итак, я скоро осознал, что моей заботой, разумеется, должны стать и заготовка дров, и всякий домашний ремонт, и полевые работы, и уход за сестренкой. И, между прочим, продолжение учебы – ведь школа-то функционировала! До самого подхода того, что тогда называлось «зоной боевых действий». Жизнь продолжалась...

В общем-то, жили мы «как все». Или даже, зачем Бога гневить, начали мы жить лучше многих, которых затронула война. В сельсовете нам давали, как и всем эвакуированным, особенно тем, у кого были малые дети, а отец на фронте, кое-что из продуктов. Помню нечто из «американской помощи» — тушенку, яичный порошок, а еще кофейный концентрат, который мы считали конфетами для солдат. Хлеба, конечно, не хватало — четыреста граммов по «служебной» карточке матери и по 300 граммов для нас, «иждивенцев». Скоро добавилось кое-что по отцовскому аттестату (фронтовые командиры уже в первый год войны могли переводить часть денежного довольствия эвакуированным семьям. На эти деньги, плюс учительская зарплата матери, на рынке можно было раз в месяц купить баночку топленого масла).

Потом фронт снова приблизился, и мы опять побежали от немцев. На этот раз сельсовет выделил нам и сани, и лошадь. Добрались недалеко, до деревни Дуровщина. По пути наткнулись на большую военную колонну. Оказалось — наши. Спрашивают, не знаем ли, где немцы? Тогда бывало так, что где немцы, где наши — никто толком не знал — все прислушивались к канонаде. Военные отобрали у нас лошадь. Точнее, взяли нашу, здоровую, отдали свою, подраненную. Добрались до большого села, с выразительным названием «Дуровщина». Между прочим, даже старики там ни разу в жизни не видели паровоза, хотя железная дорога проходила в полусотне километров. Ни радио, ни телефона... То, что идет война, конечно же, знали — зерновые были скошены, собраны в копны — и брошены. Мышей расплодилось — страсть. Немцы в Дуровке так и не появились — может быть, по той же причине, по какой не появились в 1812 г. французы Наполеона в Зубове — просто не заметили. В этом маленьком городе, в 15 километрах от Ржева, я несколько лет жил, так сказать, после возвращения из эвакуации. Поэтому и упомянул его здесь — к слову пришлось. Потом-то я освоил тот язык, в котором были военные слова — «клевши», «окружение», «прорыв» и пр. Но в том восприятии реальности, которое было общим для нас, ребяташек, да и для тех взрослых, которые были с нами, война выглядела так, что эти слова были не нужны. Недавно я видел по телевизору фильм «На обочине войны» — совсем недавно созданный. Почувствовал, что мое, детское, восприятие очень схоже с восприятием тех взрослых, которых война коснулась покруче. Посмотрите — не пожалете. В деревенской школе в Дуровке продолжались занятия. Мать вела все предметы в начальных классах — дети ходили в школу. К «выковывренным» жители деревни относились с пониманием, например, всех безропотно принимали в свои избы, подкармливали. Кое-как мы пережили зиму, а летом вернулись в свое Урусово. Бани, кстати, там не было — мылись внутри русской печи. Когда мать пыталась стирать белье в «щелоче» (это выварка золы в горячей воде), чтобы вши не завелись, то бабка искренне удивлялась — что за дурь? Человека без вшей не бывает!

Детские игры? Не помню. Скорее всего, было не до них. Или, точнее, моменты игры вплетались в военную повседневность — когда окопы рыли и т.п. Воздушные налеты и артобстрелы, конечно, в памяти сохра-

нились, как и дикие слухи в Урусове, что-де прилетит «немец», сбросит на парашюте продукты и продавца, чтобы все было по справедливости... Правда, когда первый немецкий самолет и в самом деле прилетел, то на тех, кто тогда собрался около церкви, его пилот сбросил несколько осколочных бомб – так, для развлечения. Потом люди, конечно, услышав рокот мотора, торопились спрятаться в погреб или окопчик. Уже во вторую половину войны, когда мы перебрались во Ржев (на свою голову, потому что Ржев-то немцы захватили, и он раз пять переходил из рук в руки), я научился обращаться с разным серьезным оружием, освоил саперную профессию. После окончательного освобождения города занимался (как немало из моих сверстников) разминированием улиц и колхозных полей в окрестностях, а также подрывал ледяные заторы у городка Зубцов на Вазузе – чтобы длинный деревянный мост каждую весну не сносило. Один раз заложенный мной заряд половодье занесло как раз под мост... Полюбил работать в местной МТС (это значит – «машинно-тракторная станция»). Меня не гнали, потому что помогал рабочим, как мог, и по ходу дела сам учился у них разному мастерству. Скоро смог водить грузовик, работать на тракторе, ремонтировать разную свою и трофейную технику, бывал помощником комбайнера. Все это, наверное, помогло мне потом, без особых проблем и даже без экзаменов, поступить в университет, и, в отличие от сокурсников, я мог подрабатывать не разгрузкой вагонов, а ремонтом немецких радиоприемников и дизельных двигателей в колхозах. Но это было уже другое время и особая история.

Вспоминаю 1943 год – как один из самых счастливых в том, военном, прошлом. Немец стал отступать. Отца ранили и он попал в госпиталь. Мы перестали с ужасом ждать, не свернет ли, проходя по улице, почтальонша к нашему дому – ведь она так часто доставляла «похоронки»... В этом же 43-м мы уже совсем оправились – мороженую картошку уже не ели, потому как собрали хороший урожай проса на выделенном участке и были обеспечены не только картошкой, но и пшеном. К тому же под стрехой дома, где мы жили, поселился пчелиный рой. Пчелы нас не кусали, а мы были на год обеспечены медом. Потом приехал на побывку отец, привез для меня хинин, и я, наконец, был избавлен от приступов малярии, которая мучила меня с начала войны. Помню, как я узнал, что проклятая война кончилась: толпа женщин бежала по улице и все плакали навзрыд – и те, кто еще надеялся получить запоздалую весточку с фронта, и те, кто уже получил похоронки, но все еще продолжал получать запоздалые треугольнички с фронта. Точнее, уже «с того света» – ведь война-то кончилась, а до этого «конца войны» многие все еще надеялись, что полученная «похоронка» была ошибкой. Так ведь тоже бывало, хотя и редко...

– **Почему Вы приняли решение пойти на философский факультет?**

– Почему, закончив школу, я принял решение учиться дальше? Так считали и учителя, и родители. В том, что мне стоит попытаться сделать это, я и сам не сомневался. Но когда меня и в самом деле зачислили в Университет, это до конца учебы мне казалось чудом! Почему на фило-

софский факультет? Вот это произошло почти случайно — я такого плана не вынашивал. Моим желанием было поступить на физический или сначала в Московский институт международных отношений. Или в МВТУ. Второй вариант отпал почти сразу, как только я приехал в Москву сдавать документы — до меня дошли сведения, что в МИМО принимают только детей дипломатов, так что, как я понял, даже мой хороший немецкий язык, не говоря уж о серебряной медали, вряд ли мне поможет. К тому же я был беспартийным. Один из моих друзей, который точно решил поступить на юрфак МГУ, уговаривал и меня сделать то же самое, но профессия юриста меня совсем не привлекала. И пока я в раздумье роковым бродил от стола к столу в «круглом зале», где разместились представительницы приемных комиссий, ко мне подбежал (иначе не скажешь — настолько он был заражен энергией) чернявый парнишечка и буквально забросал вопросами: «Парень, ты из деревни? С трактором управиться можешь? А с грузовиком? А на комбайне не приходилось работать?» Выслушав мои — положительные — ответы, парень безапелляционно изрек: «Ты нам подходишь. Поступай на философский. А на физическом будешь учиться как да втором — сейчас у нас в МГУ это поощряется. Теперь айда на собеседование и завтра утром — в стройотряд, в Зарайский район». Дальше колесо судьбы завертелось: встреча в круглом зале старого здания Университета была мимолетной, но стала судьбоносной. А тот паренек оказался Борисом Грушиным. Он с первого курса на философском факультете был комсомольским вожаком! А потом стал и в науке, и в нашем сообществе большим человеком — чуть ли не первым в Союзе (и по счету, и по статусу) социологом! На собеседовании, которое проводил со мною один из аспирантов философского факультета, обнаружилось, что я не только деревенский, но также читал «Что делать?» Чернышевского и к тому же знаю немецкий язык. Я и в самом деле к тому времени прочел в подлиннике сборник афоризмов Ницше, который достался мне, так сказать, в наследство от убитых немецких офицеров (их блиндаж я разминировал во Ржеве). Вместе с несколькими книгами, в числе которых были сборник афоризмов Ницше, «Mein Kampf» Гитлера и «Миф XX века» Альфреда Розенберга, моими трофеями были несколько «железных крестов» и пистолет бельгийского производства.

Стиль Ницше привел меня в восхищение, а его афоризмы показались мне очень даже любопытными. Розенберга я не понял, а сочинение фюрера мне не понравилось — крика много, смысла мало. Потом моя дипломная работа на философском факультете была посвящена Ницше и американскому прагматизму.

— **Что побудило Вас посвятить кандидатскую диссертацию Н. Гартману? Что привлекло Ваш интерес к этому мыслителю? Каковы были основные результаты Вашей работы?**

— После зачисления на философский факультет о физике я не забыл. Получив право на «свободное посещение», я четыре года урывками слушал лекции на физическом факультете, где познакомился со многими выдающимися учеными. Потом долго пытался «сидеть на двух стульях»,

надеясь получить сразу два диплома. Но рекомендация в аспирантуру философского факультета совпала с трагическим событием в моей жизни: отца убили, мать получила тяжелое ранение. Это заставило меня сделать выбор (как я думал, временный): физика была отодвинута на перспективу. А в аспирантуре, по совету своего научного руководителя, Ю.К. Мельвиля, я занялся философией «критического реализма» Н. Гартмана. Тогда это имя и это направление нашему философскому сообществу было неизвестно. На изучение всех трудов Н. Гартмана и комментариев к ним я потратил три года жизни. Кажется, разобрался в этом материале основательно. Итогом стал машинописный «кирпич» в четыре с лишним сотни страниц (тогда такой размер для тех, кто писал кандидатские диссертации по истории философии, был скорее правилом, чем исключением). Этот мой труд и был представлен к защите. Между прочим, мой первый официальный оппонент, В.Ф. Асмус, даже предложил присвоить мне за это сочинение степень доктора философских наук. Правда, Т.И. Ойзерман (он выступал в качестве первого оппонента в связи с болезнью Асмуса) ограничился тем, что признал мою диссертацию «вполне достойным результатом, что, как он выразился между прочим, для аспиранта кафедры истории философии «совершенно естественно». Так или иначе, защита и в самом деле прошла с успехом: все члены Совета проголосовали «за». Но решили все-таки ограничиться кандидатской степенью (ведь прецедентов присвоения соискателю степени кандидатской степени доктора наук, к тому же на философском факультете, не было). Я не обижен такой оценкой, тем более, что название диссертации сегодня вызывает и у меня самого некоторое смущение: вот как оно звучит целиком: «Научная несостоятельность и реакционная сущность неореалистической философии (на примере «критической онтологии» Н. Гартмана)». Но прошу учесть: диссертация-то ведь была написана и поставлена на защиту по тематике, которая тогда значилась как «критика современной буржуазной философии»! В собственных глазах меня оправдывает то, что если бы главными в диссертации были политические и идеологические оценки (а тогда это было очень важно!), то и мои оппоненты, В.Ф. Асмус и Т.И. Ойзерман, и научный руководитель Ю.К. Мельвиль (а все они, без сомнения, были настоящими исследователями, высокий уровень которых был бесспорен как в Союзе, так и на Западе), вряд ли допустили бы такой продукт философской мысли к защите.

**– Почему свою докторскую диссертацию Вы посвятили проблемам научного знания?**

– С докторской диссертацией дело обстояло иначе. После защиты кандидатской по философии мой интерес к физике не угас, как не прекратились и связи с представителями этого научного сообщества. Судьба мне благоволила: начать с того, что в Сталинграде моим основным факультетом в Педагогическом институте им. Серафимовича, где я тогда работал, был физико-математический. Защищая свое реноме выпускника МГУ, я был вынужден «на полную катушку» использовать знания, которые получил на физфаке. И хотя мои коллеги по кафедре



в шутку сразу же прозвали меня «философом-велосипедистом», мои студенты ( философия тогда преподавалась на старших курсах) быстро признали, что я осведомлен в физике и математике не хуже, чем они, и даже их учителя по «профилирующим предметам». Я быстро нашел общий язык с преподавателями, которые работали на кафедрах физики и математики. Они также меня приняли всерьез, поняв, что со мной можно порассуждать и о том, что было их профессиональным предметом. С одним из сталинградских преподавателей физики, Е. Липмановым, мы четыре года были соседями по институтскому студенческому общежитию и сблизились настолько, что постоянно обменивались и научными идеями, и жизненными планами. Он регулярно публиковался в ЖЭТФ (Журнал Экспериментальной и Теоретической Физики, тогда самое серьезное периодическое издание в нашей стране и очень авторитетное в западном научном сообществе), который я читал, как говорится, от корки до корки. И, как это ни странно, все понимал! Ну, почти все... Несколько лет спустя, когда мы с Липмановым уехали из Сталинграда (так как оба потеряли надежду, что получим сносное жилье, потому что, как нам объяснило городское начальство, преподаватели вуза не относятся к классу-гегемону и тем более не являются перспективными футболистами) мы повстречались с ним снова во дворе «высотки» в Москве: я к тому времени преподавал на философском факультете МГУ, а он профессорствовал в Йельском университете. К сожалению, после мы контактировали только в виртуальном мире...

На изготовление докторской диссертации (ее темой было исследование структуры научного мышления на материале современной теоретической физики) у меня ушло, как мне кажется, меньше времени, чем на кандидатскую. Это событие имело место вскоре после моего возвращения в Москву, когда, под давлением начальства, друзей и семьи, я записал на магнитофон спецкурс по новому тогда предмету – «философии и методологии науки». Этот материал превратился в тексты одной небольшой книжки – «Структура научного мышления» и нескольких статей по философским и методологическим проблемам науки, которые были опубликованы в журналах «Вопросы философии», «Природа», «Вестник истории естествознания и техники» и в нескольких зарубежных. Но еще раз прошу учесть, что такому «повороту» предшествовали и четыре курса физфака, и опыт учебных курсов по разным, философским и околофилософским, дисциплинам в Сталинграде и МЭИ, несколько лет работы в ИИЕиТ (тогда его директором был Б.М. Кедров), сотрудничество в методологических семинарах разных академических НИИ. И все это сопровождалось встречами и беседами со знаменитыми (иногда великими) учеными, физиками и математиками, отечественными и зарубежными. Обо всем этом стоило бы рассказывать подробно, потому что без этой компоненты моей жизни я бы уж точно «не состоялся». Но рассказать обо всем этом в интервью, конечно же, невозможно.

– **Как Вы лично оцениваете свой вклад в философию? Что составляет предмет Вашей особенной гордости?**

– Ну, все-таки, Ломоносовская премия мне была присуждена за учебник по истории современной западной философии! А потом же, в 1999 году, Американский биографический институт удостоил меня звания «человека года». Затем, в 2000 г., Кембриджский международный биографический центр включил меня в число 2000 «выдающихся ученых-гуманитариев XX столетия» – это уж, как говорится, «по совокупности». После получил я и другие знаки уважения со стороны мирового научного сообщества. А что было бы, если бы главным делом моей жизни стала физика? Обо всем этом я упомянул еще и потому, что здесь-то, в философии, наверняка никто не сможет усмотреть в моей биографии ничего похожего на «раскручивание» моей персоны в составе философского сообщества... Поверьте, получая подобные знаки признания, я каждый раз искренне удивлялся, потому что обратная сторона жизни науки мне была уже неплохо известна (хотя бы потому, что в Институте истории естествознания и техники, в котором мне тоже привелось поработать, было много ученых, «за спиной» которых были лагерные НИИ). Впрочем, удивлялся я и другим событиям в моей интеллектуальной жизни «за пределами» философии – например, тогда, когда после публикации нескольких моих статей по структуре физических теорий, познакомившись с содержанием некоторых текстов Эйнштейна, я обнаружил сходство некоторых своих идей с идеями великого физика. Тогда этот факт настолько меня ошарашил, что я принялся названивать своим друзьям-физикам, убеждая их, что с этими текстами Эйнштейна до собственных публикаций я не был знаком ...

Теперь вы понимаете, почему так трудно бывает ответить на вопрос – по существу, а не формально – о личном вкладе в науку (или в философию) не только мне, но даже тем людям, авторитет которых в других науках беспорен и чьи имена сохранила история. Помните, что писал когда-то Ньютон? «Я не знаю, кем я кажусь другим, но сам себе я представляюсь ребенком, которому посчастливилось, играя на берегу моря, найти несколько красивых камешков – в то время, как безбрежный океан истины лежит передо мною непознанным...» Так-то вот! Формально, кажется, сегодня у меня с результатами моей работы все более или менее в порядке: к юбилею в списке публикаций – более 400 названий. В этом плане я могу посоревноваться даже с М. Хайдеггером, которым (после трудного старта, когда министерство притормозило его принятие в число преподавателей одного из университетов, слававшись на недостаточное количество публикаций), кажется, овладел синдром – публиковать все, что приходит в голову. Поэтому пик его публикаций приходится на те годы, когда философское и вообще культурное сообщество, после нескольких лет запрета на профессии для тех преподавателей, кто раньше, при нацистах, занимал определенные должности, сменило гнев на милость, и М. Хайдеггер предстал как самый знаменитый интеллектуал Западного мира. Мне никогда не приходило в голову «проталкивать в печать» продукты собственного творчества...

При всей, скажем так, неустойчивости моих интересов, в моем сознании сформировалась главная тема, которую можно было бы трактовать как исследовательский проект, только начиная с 1988 года. Проект этот можно назвать примерно так: «История философии как реконструкция рационального каркаса культуры». Эта тема стала основанием другой книги – «Западная философия философии XX века». Она была написана совместно с Ю.К. Мельвилем и вышла в свет в рамках программы «Обновление гуманитарного образования в России» в 1994 г., при поддержке Международного фонда «Культурная инициатива» (фонд Сороса). Распространялась она, кстати сказать, бесплатно. По понятным причинам, я был вынужден выстраивать свою модель истории философии на материале философии западноевропейского типа, и потому она сначала расценивалась как адекватная именно истории западной философии начиная с конца XIX века и, как я надеюсь, сохранила свой эвристический заряд и для понимания закономерностей развития философии и в начале третьего тысячелетия истории этого культурного организма. Хотя я осмелюсь предположить, что эта модель может быть применена не только к «западной» культуре, но и к другим культурным регионам, и даже к культуре в целом, органичному глобальному образованию. Эта тема стала главной, и ее разработку я считаю теперь главным своим достижением. Правда, это достижение выглядит как иллюстрация известного тезиса – «истина есть процесс». И к тому же бесконечный... Хорошо, когда есть ощущение, что идешь по правильному пути, даже когда конца не видать...

– **С Вашей точки зрения, чего ждет современное общество от философии? Нужны ли сейчас философы вообще?**

– Важно то, что сам я не склонен думать, что эффективность моей работы как философа, и вообще мой творческий уровень, снизились после того, как я занялся историей философии и когда был опубликован мой первый учебник по этой дисциплине. А за этим последовали переиздания и вариации на историко-философские темы. Но разве не лишено основания распространенное мнение, что работа по истории философии (как и по истории любой науки) – это фактически либо переложение чужих идей, либо, того хуже, признание самого автора, что его творческий потенциал иссяк? При этом меня не удовлетворяет признание моими коллегами того, что история науки (и философии тоже) – дело важное и социально значимое, когда количество знаний уже выросло настолько, что пора приводить в порядок накопленную информацию и публиковать справочники, энциклопедии, специализированные словари, ведь есть потребность передавать знания, которые могут пригодиться следующим поколениям! Если принять такую точку зрения, то закономерен вывод, что коли речь идет о философском знании, то исконная задача историка философии все больше или больше сводится к тому, чтобы передавать накопленные знания последующим поколениям образованных людей. Попросту говоря, задача историка философии – превращать этот предмет в «образовательную услугу», продуцировать материал, понятный и удобный для подготовки к эк-

замену. Отсюда прагматический вывод, важный для того, кто решил посвятить остаток своей жизни истории философии: все последующие (т.е. те, которые издаются после первого) издания по истории философии – не более чем воспроизведение первого. Но ведь и в нем, как я уже говорил, собственные мысли автора – это, по большому счету, интеллектуальное излишество.

Однако, если принять мое определение истории философии как базу исследовательской программы, все это совсем не так. Разработка любого учебного курса – это особая, и отнюдь не самая простая, разновидность интеллектуальной работы. Важнейшим моментом этой работы и Гуссерль, и все без исключения ученики и последователи этого выдающегося философа XX века, считали интеллектуальный синтез. Так вот, рациональная реконструкция истории философии (это, повторяю, суть учебного курса, суть работы, которую совершает всякий историк философии, который понимает, что он делает, когда берется за составление учебной программы по своему предмету и когда пишет учебник или учебное пособие) – на самом деле это синтез, это конституирование идеальной модели объективной истории философской мысли. А результат работы историка философии, как мог бы сказать Гегель, это «отвлеченная разумность истории культуры». В собственной идеальной реконструкции коллективного процесса мышления разных философов, разных философских школ, разных подходов, разных стилей мышления любой серьезный историк философии вынужден все время решать воистину гамлетовскую задачу – восстанавливать целостность объективного исторического процесса, «связь времен». И, рассказывая (даже просто рассказывая!) о разных мыслителях, разных школах, разных концепциях, историк философии обращает внимание на связи, на различия, на преемственность, на образование (и преобразование) традиций. Такова его интенциональная установка! Он должен и сам понимать разные компоненты философской культуры в их целостности и научить этому искусству понимания тех, кто слушает его учебный курс или пользуется его учебниками. К тому же он должен сознавать риски своего предприятия – прежде всего, факт несовершенства собственной теоретической модели, как она наличествует в его готовом продукте. И потому каждый новый учебный курс, каждое новое издание его собственного учебника – это этап в совершенствовании его теоретической модели, которая есть прежде всего инструмент понимания объективного процесса, укорененного в прошлом, но ориентированного в будущее.

Гуссерль, помнится, называл этот феномен «телосом» западной культуры. Историк философии, как я понимаю смысл этой профессии, призван, прежде всего, хранить целостность культуры, которой он служит – ведь философия есть мировоззрение. Культура, которая утратила мировоззренческий статус – больная культура, даже если она в высшей степени профессиональна. Когда Хайдеггер в «Письме о гуманизме» писал, что хранителями «Дома бытия» являются мыслители

и поэты, то среди мыслителей (а может быть, и среди поэтов?) стоило бы специально выделить тех, кто посвятил жизнь истории философии. Важнейшая функция мышления, конечно же, есть синтез. Великие философы были мастерами категориального синтеза, ведь продукты их мысли – это картины мира. Именно они придают единство историческим эпохам (об этом хорошо писал К. Ясперс в работе «Люди, создающие эпохи»). Особенно важна эта работа в периоды великих кризисов, когда ослабевают связи между людьми, когда человеческие сообщества становятся эфемерными, а в сознании человека исчезает разница между великим и ничтожным. Тогда «распадается связь времен», и «история прекращает течение свое». Повторяю – великая функция мыслителей и людей искусства состоит в том, чтобы, в меру своих сил и способностей, хранить эту связь, и восстанавливать ее тогда, когда она рвется или ослабевает. А кому же устанавливать и восстанавливать связь между разными мировоззренческими картинами мира, т.е. между культурами, между науками, между эпохами, как не историкам философии?! Историк философии во многом сродни переводчику – ведь он, объединяя в своем курсе разные концепции, разные школы, разные понятийные конструкции, должен сам понимать каждую из них, а по ходу дела и реконструировать их единство; он обязан укреплять связь между ними, если эта связь истончается, и даже устанавливать эти связи, когда они разрушены. Именно так: не только открывать, но и выстраивать! Он сам обучается искусству понимания и передает это, в форме техники, своим ученикам и тем своим коллегам, которым угрожает опасность специализации.

Язык истории философии – может быть, важнейшее достижение профессионального историка философии. Не потому ли в «Письме о гуманизме» М. Хайдеггера язык возведен в ранг «дома бытия»? Не потому ли поэты являются «подмастерьями» народов-языкотворцев? По той же причине оглавления книг по истории философии – это, по сути, свертка программы автора. А общее предисловие и общее заключение в таких книгах, вкупе со вступлениями и заключениями глав и параграфов – связующее звено между каркасом теоретической модели историка философии и эмпирическим материалом исторического процесса, который обычно называют «фактическим содержанием».

Эта тема заслуживает серьезного философского анализа, которым я намерен заняться в обозримом будущем, если только достанет времени и хватит сил, чтобы это намерение исполнить. Поэтическим образом, который, на мой взгляд, лучше всего выражает суть и смысл такой работы (как и работы историка философии, который – хотя бы в душе – должен быть поэтом, иначе как исполнима миссия «хранителей дома бытия», о которой писал Хайдеггер в знаменитом «Письме о гуманизме»?) могло бы послужить стихотворение Б. Пастернака, которое я осмелюсь использовать в роли заключительного пассажа этого моего интервью и которое, вопреки моему желанию и независимо от моей воли, кажется, превратилось в нечто вроде исповеди. Ах, как мне хоте-

лось бы еще добавить в этот заключительный пассаж, вместе с текстом этого гениального стихотворения, еще и музыку В. Гаврилина... Итак, слушайте...

Идет без проволочек  
И тает ночь, пока  
Над спящим миром летчик  
Уходит в облака.  
    Он потонул в тумане,  
    Исчез в его струе,  
    Став крестиком на ткани  
    И меткой на белье.  
Под ним ночные бары,  
Чужие города,  
Казармы, кочегары,  
Вокзалы, поезда.  
    Всем корпусом на тучу  
    Ложится тень крыла.  
    Блуждают, сбившись в кучу,  
    Небесные тела.  
И страшным, страшным креном  
К другим каким-нибудь  
Неведомым вселенным  
Повернут Млечный путь.  
    В пространствах беспредельных  
    Горят материки.

В подвалах и котельных  
Не спят истопники.  
В Париже из-под крыши  
Венера или Марс  
Глядят, какой в афише  
Объявлен новый фарс.  
    Кому-нибудь не спится  
    В прекрасном далеке  
    На крытом черепицей  
    Старинном чердаке.  
Он смотрит на планету,  
Как будто небосвод  
Относится к предмету  
Его ночных забот.  
    Не спи, не спи, работай,  
    Не прерывай труда,  
    Не спи, борись с дремотой,  
    Как летчик, как звезда.  
Не спи, не спи, художник,  
Не предавайся сну.  
Ты – вечности заложник  
У времени в плену.

*Борис Пастернак. Ночь*

В самом деле, в мире, в котором живет историк философии и который реконструирован в историко-философских сочинениях, так же, как в поэзии и музыке, связаны (точнее говоря, могут и должны быть синтезированы) все продукты и все регионы культуры, со всем многообразием философских концепций и биографий мыслителей. Если в трудах историка философии и в самом деле реконструирована история культуры, то в них будет представлена картина существенных связей нашего, человеческого, прошлого, настоящего и будущего. И мир этот, этот Дом Бытия, открыт для каждого, кто хотел бы в нем жить. Это, конечно же, тоже требует немалых усилий. Впрочем, жизнь вообще штука непростая. И жизнь историка философии – тоже, поверьте. Хотя бы потому, что работа историка философии – это, прежде всего, неустанный, многолетний и тяжкий труд.